



Существует ли такое понятие, как антиэстетический состав? Думаю, все-таки существует. Не всякая принадлежность быта, не все, что входит в житейский круг, становится предметом искусства. Есть явления, изначально лежащие вне всякой эстетики, они ей как бы противопоставлены. Эта данность, что не трудно заметить, на многих действует как раздражитель. Эстетическое начало переименовывается в эстетское, начинаются толки о парнасском снобизме. Все они лишены оснований. Искусство бесстрашно, а не брезгливо, не чурается ни грязи, ни мрака. Оно предъявляет одно лишь требование к объекту исследования и отражения — в нем должна быть вторая среда, некая глубинная сфера. Если искусство идет в подвал, то оттого, что ищет в нем бездну, а не за тем, чтоб убедиться, можно ли там хранить картошку.

Если мы пристальнее взглянем, то обнаружим, что в повседневности идет необъявленная борьба за честь быть источником вдохновения. Когда тот или другой факт бытия оказывается вне жизни духа, он не становится фактом искусства, которое сразу же обвиняют в высокомерной элитарности. Подобно тому, как в презрении к элите больше всего кланутся люди, мечтающие в нее войти, так и в искусстве — злоба дня с ее мотыльковым мгновенным сроком всегда носит вечные темы, тайно мучаясь своей недостаточностью. Эта скороговорка жизни — сленг исторического процесса — обречена на короткий век в пределах куплета и фельетона, хотя их можно, ничтоже сумняшеся, назвать поэмой или романом. Эстетика, как известно, всегда предполагает некий надуровень, и оттого она вызывает в худшем случае прямую враждебность, в лучшем случае — подозрение. Эстетические противостояния часто предшествуют идейным.

Не обходится без занятых нюансов. Есть и такой сорт патриотов — при всем их романтическом пафосе они по-своему прагматичны: «Если нельзя иметь то, что любишь, надо любить то, что имеешь».

С вершин исторического опыта становятся понятней причины внешней и внутренней эмиграции некоторых знаменитых художников. Нет смысла ни укорять Бунина за то, что он предпочел чужбину, ни объяснять это решение, бесспорно, спасшее ему жизнь, всего лишь врожденным антидемократизмом. Булгаков не покинул России, но его укоряли в том же. (Меня в этом булгаковском свойстве неоднократно убеждал покойный Аркадий Белинков, но мне было трудно с ним согласиться). Да, Булгаков — автор «Собачьего сердца», скажу больше, он не зря культивировал в своей лексике слова, обороты, ставшие после революции очевидной и безусловной архаикой — возможно, то был лингвистический бунт против новой языковой стихии. Но это не значит, что Булгаков и Бунин исходно были враждебны народу. И тот, и другой не хотели признать плебейство новым патрицианством. Меж тем это было главным условием и сутью преобразенной державы. И, надо сказать, она обладала почти чудодейственным очарованием. Это очарование — в силе, главной добродетели массы. Паскаль давно уже констатировал: «...не смогли сделать так, чтобы справедливое было сильным, а сделали сильное справедливым».

И маяковское «слиться с массами» стало навязчивой идеей целой писательской генерации. Читайте записи Юрия Олеши и видите, с каким смятенным чувством пишет он о «советских людях», с какой ностальгической тоской вспоминает свою работу в «Гудке», когда он был фельетонистом, печатался под псевдонимом «Зубило», был известен железнодорожникам. Все время слышишь меж строк: «Примите меня! Хочу быть с вами!».

Впрочем, что говорить об Олеши! Не так давно «Независимая газета» решила напечатать стихи Пастернака и Мандельштама в честь Сталина. Меня просили сопроводить их таким небольшим комментарием. Я написал, что нельзя объяснить эти стихи одним лишь страхом. «Культом одной личности парадоксально вырос из культа большинства». Этот

культ, продолжал я, был характерен для отечественной интеллигенции, которая «словно явилась на свет с почти генетическим чувством вины перед Меньшим Страдающим Братом. Чувство это ее привело к неизбежному ощущению своей социальной неполноценности». И далее — «масса, класс — вот она истина. Количество стало знаком качества. Меньшой Брат совершенно естественно преобразился в Старшего Брата». Я подчеркнул, что вождь ответил «...тайному восхищению мощью».

Один даровитый публицист впоследствии побранил газету за публикацию этих стихов, заодно он помянул и меня, хотя заметку назвал «осторожной». Но осторожничать я и не думал — без околочностей можно сказать, что вопрос отношений художников с властью, всегда достаточно простой, приобрел совершенно особую сложность в послеоктябрьскую эпоху, когда художники признали за властью ее «народное происхождение».

Как известно, такая генеалогия требовала к себе почтения почти молитвенно-религиозного в духе догматов интеллигенции с ее, как я написал в заметке, «умозрительной, но и какой-то женственной очарованностью плебейством». Не увидеть и нежности, и сочувствия к авторам этих стихотворений можно было лишь при сильном желании. Но и сочувствие, и нежность не обязательно сопряжены с инфантильным отказом от размышлений. Мудрость Бунина и Булгакова была не только в их понимании опасности эгалитаристской идеи, сколько в их пушкинской независимости «и от царя и от народа». Она была по плечу немногим. Примечательны своей строгой четкостью слова Салтыкова-Щедрина, адресованные им Пышину: «Затем, что касается до моего отношения к народу, то мне кажется, что в слове «народ» надо отличать два понятия: народ исторический и народ,

Леонид ЗОРИН

ИЗ «ЗЕЛЕННЫХ»

представляющий собой идею демократизма. Первому, выносящему на своих плечах Бородавковых, Бурчевых и т. п., я действительно сочувствовал не могу. Второму я всегда сочувствовал, и все мои сочинения полны этим сочувствием».

Бесспорно, что с течением лет многое и ясней, и понятней. Но взгляд с исторической вершины, о коем я только что произнес несколько почтительных слов, не только расширяет обзор — он еще примиряет с минувшим. Если даже пережитое кажется и милой и светлей, когда становится невозвратным, то что говорить о временах, с которыми мы знакомы по книгам? У историков свой устав — бесстрашие, широта, терпимость. Ходасевич — а он не из добряков — намеревался оправдать Павла Первого. Наверняка этот странный царь был неоднозначной фигурой, и все же его современникам было совсем не до «взвешенных оценок». «Павел лишил казнь стыда, а награду чести», — сказал Карамзин.

Может быть, и наши потомки проявят свою толерантность к деспотам, изувечившим наши жизни — мол, что делать, каждое поколение должно оплачивать свой поступательный ход. Однако же остается сомнение — успеют ли эти мудрецы распорядиться нашими взносами?

Эмоциональное отношение к прошлому обычно считается дурным тоном. С одной стороны, отдает ребячеством, с другой стороны, тут меньше шага до мистического его восприятия, а стало быть, — и до меланхолии. Все это противоречит правилам фундаментального подхода к познанию. У науки об истории есть своя этика. В отличие от самой истории.

Этот фундаментальный подход всегда приводил к оптимистическим выводам. В этом нет ничего неожиданного. Благонравные исследователи всегда разделяют государственный пафос. А государство оптимистично. То же самое можно сказать о художниках.

Цензура традиционно была, пожалуй, самым оптимистическим из всех политических институтов — всегда оберегала мажор и не поощряла грустных мотивов. Еще полтора столетия назад Леонтий Дубельт, будучи ее шефом, подробно изъяснял драматургам, что, кроме иноземных влияний, на сцене решительно недопустимо преобладание черной краски над белой.

Тут невольно приходит на ум определение гуманизма, некогда данное Томасом Манном — юмор, музыка, пессимизм. О пессимизме, понятно, нет речи, но и с юмором, сколь ни парадоксально, все обстоит не так уж просто — в составе державного оптимизма иной юмор ингредиент чужеродный, во

всяком случае, подозрительный. Что же до музыки, то, как известно, ее заказывает тот, кто платит. Таким образом, манновская триада придется ко двору не везде. Что не должно приводить в удивление — у оптимистического государства с гуманностью сложные отношения.

Либо человек — мера всех вещей, либо — строительный материал. Третьего не дано. Аминь.

В своем письме к нацисту Бертраму покинувший Германию Манн пишет о смерти Якоба Вассермана, большого немецкого прозаика, на беду его — сына еврейских родителей: «Кончина его, разумеется, связана с оползнем века. Чего уж роптать. Лес рубят — щепки летят. Так, кажется, Вы говорите?»



Да, именно так мы говорили, хотя и жили в другой стране, в очень своеобразном обществе, где верность и боль за конкретную личность назывались абстрактным гуманизмом. Не было худшего ругательства, чем этот абстрактный гуманизм.

Во всех проявлениях наших страстей — в том числе в низвержении «абстракций» — была какая-то адская истовость. Сегодня мы горячо убеждаем, что в заблуждениях были искренни. Возможно. И все-таки эта истовость рождает ощущение фальши. Сколько демонов клялись христианством! Сколько великих инквизиторов проповедовали любовь и смирение. И не странно ли, что инквизиторы пользовались особым успехом. Страх создает иллюзию равенства? Общности? Единой судьбы?

Так или иначе, удивительна эта вечная потребность толпы найти очередного оракула и готовность подхватывать все, что он скажет. Независимо — жизнь он сулит или смерть. Удивительны и сами пророки. Вдруг является человек и обещает, не поперхнувшись, что он-то научит всех уму-разуму. Нет, мессианство — вид душевной болезни.

Однако ко всему привыкаешь. И к постоянному путеводительству, и к постоянному укороту. И, разумеется, — к терпеливости. Пожалуй, тут главная наша привычка. В прошлом веке маркиз де Кюстин все удивлялся этому свойству.

В свою очередь русская публика очень удивлялась маркизу и в особенности его запискам. Естественно. Трудно найти документ подобной сокрушительной силы и так мало подвластный времени. С книгой его стали бороться, стоило только ей появиться, боролась с ней до последних дней (она была недоступна читателю). Конечно, невесело было читать, что мы потеряны для первобытности и непригодны для цивилизации, что в России быть несчастным позорно, что здесь «немыслимо счастье, ибо... человек не может быть счастливым без свободы». На все эти французские мысли царь отвечал штыковым ударом — объявил автора педерастом. Этот находчивый ответ был, видимо, принят на вооружение. Приблизительно через сто двадцать лет при высочайшем посещении выставки новых картин и скульптур в Манеже это же самое обвинение было предъявлено их создателям.

И все-таки Николаю Павловичу было бы небесполезно прислушаться к умному человеку. Да и позднейшим нашим правителям стоило намотать на ус хотя бы такое его предсказание: «Когда в России будет свобода речи, в ней начнутся немыслимые раздоры народов». Глядишь, и подумали б, как избежать их. Куда там! Легче упрятать книгу от глаз людских в специальном хранилище. Напрасно толковывал Жан Поль Рихтер: «Гибель государства несет дух эпохи, а не дух книг» — кто его слушал! Господь авторов просит не беспокоиться.

Ну что ж, пожалуй, так для них лучше. Очень возможно, что писателям вредит их общественный темперамент. Во всяком случае — вредит их работе. Недаром Толстой написал Фету, видимо, его утомлявшему многостраничными рассуждениями, что слишком тот много читает газет. В самом деле, такой интерес может не пройти безнаказанно. Не раз и не два доводилось видеть: в начале пути была поэзия, а в конце его — декламация. Этот водоворот затягивает. А у писателей, как бы то ни было, своя жизнь — в ней надо быть готовым к неизвестности. Обидно. Но ничего не поделаешь. Впрочем, ведь сказано в Раджа-йоге: «Лучшие люди проходят незаметно». Все же какое-то утешение.

Каждый день проводить за столом — это не всякому по силам. Утверждают, что истинные творцы — по самой природе своей — графоманы. Ренар заметил: «Гении — это волю». В самом деле, столько славных имен, и за любым — десятки томов. Есть и другие — несхожие с ними, — они ныряют в пучину за жемчугом, много труда, а улов невелик. Но ведь они себя не щадили. Нобелевский лауреат Сол Беллоу оставит нам целую библиотеку — честь и слава! Юдженио Монтале, столь же достойный нобелиат, к семидесяти девяти годам создал лишь пять стихотворных сборников. И также заслужил свои лавры. Было, однако ж, и нечто общее — у тех, кто был плодит и щедр, и тех, кто скуп и неохотно отцеживал нам каждое слово. Это общее — келейная жизнь, возможно более однообразная.

Достаточно быть разумным писателем, чтоб понять, что лишь она продуктивна. Но надо быть настоящим писателем, чтобы испытывать в ней потребность.

Гения нельзя разгадать — можно разве только по-

строка — факт прежде всего этимологический, обнажается подлинный смысл слов. Через позднейшие напластования — к первоначальному и первосущности.

Я говорил уже, сколь независима была пушкинская душа. Его эстетическое самостояние вызывает не меньшее восхищение. Всегда и во всем — сам по себе.

Именно он первым открыл, какие возможности для поэзии таят «невольные прозаизмы». (Державин об этом только догадывался). И как легко и непринужденно решал отношения с традицией. «Читатель ждет уж рифмы розы, на, вот возьми ее скорей». Посмеивается, но не отказывается! Как море — вбирает в себя все реки, как океан — вбирает моря. И что, быть может, самое важное — как бы резвяся и играя.

Заметим последнее обстоятельство. В магической атмосфере игры естественным образом осуществляется одна из заветных тайн художества — нежданно сопрягаются полюсы и соединяются крайности.

Бесспорно, немецкая литература стоит в нашем веке на трех китах и все они — один к одному. Герман Гессе и Роберт Музиль не уступают Томасу Манну, а в основательности и капитальности, возможно, даже его превосходят. И все-таки Манн их переживает — в нем больше игры. Это решает.

Титаны, не помышляя о том, перекликаются сквозь времена и пространства. Совсем не случайно, что это Манн отважно заметил, что «дерзкий традиционализм не так уж далек от революционности». Быть традиционалистом — дерзость! Защитить его — это дважды дерзость. Есть в этом нечто трагикомическое.

ТЕТРАДЕЙ»

чувствовать. На миг отвлечемся от литературы. В молодости гроссмейстер Таль всех подавлял непредсказуемостью, стремительно стал чемпионом мира. Он уж давно не чемпион, но считает, что ныне играет лучше — глубже оценивает позицию и, как следствие, реже проигрывает. Это мнение многие разделяют. Не мне оспаривать знатоков. Возможно, что сегодняшний Таль играет надежнее, чем Таль вчерашний. Из этого следует лишь одно: гений далеко не всегда выбирает самое верное. Или то, что кажется верным.

Поэтому — доверьтесь ему. Ему дано особое зрение. Даже когда вы старше на век, не оглядывайтесь на него снисходительно, не уличайте его в ошибке. Не торопитесь. Он видит дальше. Сколько проклятий вызвали «Бесы»! Бойтесь пуще всего прогрессистов. Лет двадцать назад, когда я писал свою драму о Пушкине «Медная бабушка», чем больше я в нее погружался, тем я отчетливей ощущал сальеризм Петра Андрееча Вяземского. Испытанный многолетний друг всегда был поэта в большую точку. И вроде был прав — укорял в конформизме. Его сокрушительного ума не хватило, чтобы понять, что Пушкин был выше и этого конформизма, и оппозиции — он был Пушкин! (Стоило ему умереть, и Вяземский это постиг мгновенно. Минуты годы, он стал стариком, стал, между прочим, важным сановником и — на самом закате — крупным поэтом).

Тут, кстати, сознаться, что отношения классиков прошедшего века можно посчитать идиллическими, только имея точкой отсчета наше сегодняшнее остервенение. Тургенев разругался с Толстым, порвал с Некрасовым, а Чернышевского даже назвал «клоповояющим». Гончаров Тургенева обвинил в плагиате — в дело вмешался третейский суд. Достоевский Гоголя и Тургенева изничтожил в своих произведениях, наиздевался над ними всласть. Оба гиганта — Толстой с Достоевским — так и не вступили в знакомство, старательно избегали друг друга. Все были нервы, самолюбивы, сильно ревнивы к чужому успеху. Исключением был, пожалуй, Дружнин — счастливый характер, жил без претензий. Это дало ему внутренний мир.

И Чехов не уберется от злобы спутников: Ясинский, Ежов, Леонтьев-Щеглов, впоследствии клявшийся его именем, да и немало других собратьев таили глухое недоброжелательство. У Ежова оно прорвалось наружу — не мог примириться с тем, что коллегу, приятеля, с которым когда-то он начинал в литературе, стали вдруг называть великим. Тот уж давно лежал в могиле, а этот все печатал статьи, всячески принижавшие Чехова. Никогда не могли унять в душе обиды на жизнь и зависть к покойнику.

«Быть может, он для блага мира, или хоть для славы был рожден». Нет, только Пушкин мог так сказать. Я выделил краткое слово «хоть» — оно поистине гениально. Четыре буквы, определившие меру ценностей и их место.

Литературное достижение — неважно, страница или

Ничего не поделаешь, «революционность» — свидетельство твоей современности.

Меж тем нет ничего старомодней толков о современном искусстве. Они сопровождают наш мир на всем его тысячелетнем пути.

Обычно на рубеже столетий в томительно душной атмосфере ожидания перемен рождался какой-нибудь авангард, какой-нибудь очередной Sturm und Drang. То в романтическом плаще, то в призрачном символистском кружеве, Давид бросался на Голиафа.

При всех различиях этих одежд в новаторах было немало общего. Прежде всего их солипсизм, хотя все они были полны тревог за судьбы мира и человечества. Гегель пронзительно связывал романтизм и символизм. Поиск в сущности шел в одном направлении — трещина мира, по яркому слову романтического поэта, обнаруживалась в его сердце. А через несколько десятилетий столь священная для символистов мировая душа соединялась и сливалась с душой искателя.

Суждение это скорее всего нуждается в некоторых амортизаторах, но я не стану к ним прибегать. Ибо ничто так не уродует, не обесточивает мысли, как разного рода оговорки. Нет смысла ее вооружать против возможных нападений, не надо искать ей предохранителей. Пусть проиграет в универсальности, недостижимой, как неуязвимость, зато она выиграет в определенности. Это значительно важнее.

Чехов был одним из немногих, кто сумел избежать искушений и остаться самим собою. «Что художественно, то и ново» — сбить с этого его было нельзя.

Есть великая справедливость, что именно он и оказался в своем «дерзком традиционализме» самым дерзким еретиком, самым смелым и глубоким новатором.

Кто, как не он, «сопрягал полюсы»? Его задумчивость, мягкость, нежность не помешали ему оказаться жестким и мужественным писателем. Его подводное течение, скрытое будничной непритязательностью, совмещалось с исповедальностью — объемный многомерный подтекст не отменял напряженности текста. Его прославленный лаконизм, когда вес произнесенного больше, не помешал открыть ему в драме возможности маленького монолога. Больше того, для него монолог — не кульминация, как для предшественников, а способ общения — уместно вспомнить хоть разговор Тригорина с Ниной. Все основания полагать, что его эпистолярное творчество тесно связано с его поэтикой. Прежде всего мне вспоминаются его поразительные письма к Суворину — совершенные монологи, хочется читать их с подмостков.

Его значение для театра, видимо, еще важнее, чем для прозы. Он попросту его реформировал. На сцене характеры заинтересовывают, но истинно потря-

сают судьбы. Поэтому приоритетная роль едва ли не с античных времен всегда за экстремальным событием — кровосмесительством, детоубийством, просто убийством, изменой, возмездием. В чеховской драме в самом характере уже и заключена судьба — страшных событий не так уж много, и все они менее драматичны, чем скрытая от людей жизнь сердца. Чем Чехов зреее, тем это отчетливее. Если в «Иванове» и в «Чайке» пули еще достигают цели, то в «Дяде Ване» выстрел скорей выглядит пародийно-комичным. Но в этом «фарсе» бездна трагизма!

Он никогда не ходил в пророках. Он им и не был, но тем не менее слышна пророческая тема в его исповеднической мелодии. Провидцы не только проповедники, в них есть и лирическое начало (неотторжимое от личностного), даже когда они касаются главных вопросов бытия. В этом загадка их заразительности. В Чехове, безусловно, был этот лиризм прорицателя, но вместе с тем — ни грама надменности и самонадеянности вероучителя.

Все та же духовная независимость! «Что художественно, то и ново». Именно потому, что он был всегда и во всем самим собой, он не провозглашал манифестов, не объявлял нового века, не утверждал своей современности. Но эта твердость дана немногим. И, кажется, ни одно поколение не избегало этих соблазнов. Для тех, кто молод, в них, очевидно, заключена какая-то магия, теми, кто старше, движет страх — не оказаться бы на обочине.

И тут начинаются конвульсии, множество жалких телодвижений — заседание, сотрясение воздуха, мелькание под прожекторами на сквозняке последних веяний — пусть в хоре, но петь новые песни! Грустная имитация жизни. Подобная деятельная старость в лучшем случае может вызвать только глубокое сострадание.

«Устами праздными жевал он имя Бога». Распространенное нынче занятие. Ужасно, когда работа души, самая тайная и интимная, становится расхожей монетой. Вы еще можете без содрогания воспринимать любимое слово — «покаяние»? Невероятно.

И при этом — неутомимая жажда официального признания! Будто нельзя было убедиться — когда государство слишком пламенно, слишком бурно обнимает художника, он тотчас же испускает дух. О поистине, «тяжело познать каменной его десницы». Даже для настоящих талантов. И Горький был удручен подчеркнутым расположением властей. Освятили, назвали его именем города, театры, библиотеки. Реакция нового поколения была неминуемо беспощадной. Из всего, что он сделал за долгую жизнь, припомнили лишь безумные строки, написанные под домашним арестом. Забыли сотни прекрасных страниц, «Несвоевременные мысли», забыли, сколько он сделал добра.

Всегда и везде — все беды от страха. А что он такое в конечном счете? Бездна. Вот поэтому старость — его испытанная мишень. Возраст само собой, вероломный. Больше умею и меньше могу. Стало быть, надо сосредоточиться на первой части этого двуединства.

Тем более что Ян Парандовский был прав: «Смерть — огромное событие в жизни писателя». Тем строже спрос.

«Негодование уже не терзает его сердца» — такая автоэпитафия Свифта, начертанная на его могиле. К этому мудрому состоянию не худо прийти еще при жизни. Оно входит в духовную эвтаназию.

Любовь — единственная возможность забыть о себе.

Жизнь может быть и беспамятной, память не может быть безжизненной. Помню — значит, я мыслю. Помню — значит, я чувствую. Помню — следовательно, существую.

